



## **В. Д. НАБОКОВ**

### **<«...Его решения отличались всегда большой неустойчивостью и переменчивостью»>**

<...> Через некоторое время откуда-то появился Керенский, — сопровождаемый гр. Алексеем Давыдовым<sup>1</sup> (героем процесса с Пуаре<sup>2</sup>), — взвинченный, взволнованный, истеричный. Кажется, он пришел прямо из заседания Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, где он заявил о принятии им портфеля министра юстиции — и получил санкцию в форме переизбрания в товарищи председателя комитета. Насколько Милюков казался спокойным и сохраняющим полное самообладание, настолько Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т. е. до того, как принял на себя роль «заложника демократии» во Вр[еменном] правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки — крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился вместо франтовского какой-то нарочито-пролетарский вид... При мне он едва не падал в обморок, причем Орлов-Давыдов не то давал ему что-то нюхать, не то поил чем-то, не помню. <...>

В какой мере германская рука активно участвовала в нашей революции, — это вопрос, который никогда, надо думать, не получит полного, исчерпывающего ответа. По этому поводу я припоминаю один очень резкий эпизод, происшедший недели через две, в одном из закрытых заседаний Вр[еменного] правительства. Говорил Милюков, и не помню, по какому поводу, заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту. Оговариваюсь, что я не помню точных его слов, но мысль была именно такова и выражена она была достаточно категорично. Заседание происходило поздно ночью в Мариинском дворце. Милюков сидел за столом. Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца зала в другой.

В ту минуту, как Милюков произнес приведенные мной слова, Керенский находился в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: «Как? Что Вы сказали? Повторите?» и быстрыми шагами приблизился к своему месту у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из зала. За ним побежал Терещенко и еще кто-то из министров, но вернувшись, они сообщили, что его не удалось удержать и что он уехал домой (в Министерство юстиции, где он тогда жил). Я помню, что Милюков сохранил полное хладнокровие и на мои слова ему: «Какая безобразная и нелепая выходка!» отвечал: «Да, это обычный стиль Керенского. Он и в Думе часто проделывал такие штуки, вылавливая у политического противника какую-нибудь фразу, которую он потом переиначивал и пользовался ею, как оружием». По существу, никто из оставшихся министров не высказал ни одного слова по поводу фразы, вызвавшей негодование Керенского, но все находили, что его следует сейчас же успокоить и уговорить, — объяснив ему, что в словах Милюкова не было общей оценки революции. Кто-то (кажется, Терещенко) сказал, что к Керенскому следовало бы поехать князю Львову. Другие с этим согласились (Милюков держался пассивно, — конечно, весь этот инцидент был ему глубоко противен). Кн. Львов охотно согласился поехать «объясниться» с Керенским. Конечно, все кончилось пуфом, но тяжелое впечатление осталось.

<...>

Помню, что чуть ли не в первом заседании, в субботу, Керенский объявил, что он в товарищи себе берет Н. Н. Шнитникова<sup>3</sup>, и помню, что этот незначительный факт произвел на меня большое и крайне отрицательное впечатление. Здесь для меня впервые проявилась одна из основных черт этого рокового человека. Эта черта — абсолютная неспособность разбираться в людях и правильно их оценивать. Шнитников — личность достаточно хорошо известная. Человек добрый и вполне порядочный, он вместе с тем человек с узко-предвзятым отношением к каждому вопросу. Ни в адвокатуре, ни в Городской думе, ни в какой-либо другой сфере он — как хорошо известно — никогда не пользовался ни малейшим авторитетом. И его Керенский хотел поставить рядом с собой, во главе всего судебного ведомства! Само собой разумеется, он бы этим достиг только одного: полного дискредитирования своего собственного и своего товарища. Помню,

что стоило некоторого труда отговорить Керенского. Но нужно заметить, что наряду с внезапностью и стремительностью его решения отличались всегда большой неустойчивостью и переменчивостью.

<...>

*A tout seigneur tout honneur*<sup>4</sup>. Начну с Керенского.

Прошло семь месяцев с тех пор, как я в последний раз видел Керенского, но мне не стоит никакого труда вызвать в памяти его внешний облик. Я впервые с ним познакомился лет восемь тому назад. Наши встречи были совершенно мимолетные, случайные: на Невском, на какой-нибудь панихиде и т. п. Мне про него говорили (еще до избрания его в Госуд[арственную] думу), что это человек даровитый, но не крупного калибра. Его внешний вид — некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов, — все это вместе взятое мало привлекало. Во всяком случае, ни в нем самом, ни в том, что приходилось о нем слышать, не только не было ничего, дающего хотя бы отдаленную возможность предполагать будущую его роль, но вообще не было никаких данных, останавливающих внимание. Один из многих политических защитников, далеко не первого разряда. В большой публике его стали замечать только со времени его выступлений в Госуд[арственной] думе. Там он в силу партийных условий фактически оказался в первых рядах и, так как он, во всяком случае, был головою выше той серой компании, которая его в Думе окружала, — так как он был недурным оратором, порою даже очень ярким, а поводов к ответственным выступлениям было сколько угодно, то естественно, что за четыре года его стали узнавать и замечать. При всем том настоящего, большого, общепризнанного успеха он никогда не имел. Никому бы не пришло в голову поставить его, как оратора, рядом с Маклаковым<sup>5</sup> или Родичевым<sup>6</sup>, или сравнить его авторитет, как парламентария, с авторитетом Милюкова или Шингарева. Партия его в Четвертой Думе была незначительной и маловлиятельной<sup>7</sup>. Позиция его по вопросу о войне была, в сущности, чисто циммервальдской. Все это далеко не способствовало образованию вокруг его имени какого-либо ореола. Он это чувствовал и, так как самолюбие его — огромное и болезненное, а самомнение — такое же, то естественно, в нем очень прочно укоренились такие чувства к своим выдающимся политическим противникам, с которыми довольно мудро было совместить стремление к искреннему и единому сотрудничеству.

<...>

Трудно даже себе представить, как должна была отражаться на психике Керенского та головокружительная высота, на которую

он был вознесен в первые недели и месяцы революции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что все это преклонение, идолизация его — не что иное, как психоз толпы, — что за ним, Керенским, нет таких заслуг и умственных или нравственных качеств, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное отношение. Но несомненно, что с первых же дней душа его была «ушиблена» той ролью, которую история ему — случайному, маленькому человеку — навязала, и в которой ему суждено было так бесславно и бесследно провалиться.

Я сейчас сказал, что в «идолизации» Керенского проявился какой-то психоз русского общества. Это, может быть, слишком мягко сказано. Ведь, в самом деле, нельзя же было не спросить себя, каков политический багаж того, в ком решили признать «героя революции», что имеется в его активе?.. Если он действительно был героем первых месяцев революции, то этим самым произнесен достаточно веский приговор этой революции.

С упомянутым сейчас болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно неприятное свойство: актерство, любовь к позе и вместе с тем ко всякой пышности и помпе. Актерство его, я помню, проявлялось даже в тесном кругу Вр[еменного] правительства, где, казалось бы, оно было особенно бесполезно и нелепо, так как все друг друга хорошо знали и обмануть не могли.

<...>

Те, кто были на так называемом Государственном совещании в Большом Московском театре, в августе 1917 года, конечно, не забыли выступлений Керенского, — первого, которым началось совещание, и последнего, которым оно закончилось. На тех, кто здесь видел или слышал его впервые, он произвел удручающее и отталкивающее впечатление. То, что он говорил, не было спокойной и веской речью государственного человека, а сплошным истеричным воплем психопата, обуянного манией величия. Чувствовалось напряженное, доведенное до последней степени желание произвести впечатление, импонировать. Во второй — заключительной — речи он, по-видимому, совершенно потерял самообладание и наговорил такой чепухи, которую пришлось тщательно вытравлять из стенограммы. До самого конца он совершенно не отдавал себе отчета в положении. За четыре-пять дней до Октябрьского большевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце, я его прямо спросил, как он относится к возможности большевистского восстания, о котором тогда все говорили. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло», — ответил он мне. «А уверены ли Вы, что сможете с ним справиться?». «У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».

&lt;...&gt;

Чрезвычайно любопытно было отношение Керенского к Исполнительному комитету Совета раб[очих] и солд[атских] депутатов. Он искренне считал, что Вр[еменное] правительство обладает верховной властью и что Исполн[ительный] комитет не вправе вмешиваться в его деятельность. Он относился с враждой и презрением к Стеклову-Нахамкесу, который в течение первого месяца был *porte-parole*<sup>8</sup> Исполнительного комитета в заседаниях Вр[еменного] правительства и контактной комиссии<sup>9</sup>. Нередко после конца заседания и в *a parte*<sup>10</sup> заседания он негодовал на слишком большую мягкость кн. Львова в обращении с Стекловым. Но сам он решительно избегал полемики с ним, ни разу не пытался отстоять позицию Вр[еменного] правительства. Он все как-то лавировал, все как-то хотел сохранить какое-то свое особенное положение «заложника демократии» — положение фальшивое по существу и ставившее Вр[еменное] правительство нередко в очень большое затруднение.

&lt;...&gt;

Я не стану отрицать, что он (А. Ф. Керенский. — А.Н.) сыграл по истине роковую роль в истории русской революции, но произошло это потому, что бездарная бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность.

&lt;...&gt;

По своим воспоминаниям мне приходится констатировать, что Вр[еменное] правительство с изумительной пассивностью относилось к этой губительной работе. О Ленине почти никогда не говорили. Помню, Керенский уже в апреле, через некоторое время после приезда Ленина, как-то сказал, что он хочет побывать у Ленина и побеседовать с ним, и в ответ на недоуменные вопросы пояснил, что «ведь он живет в совершенно изолированной атмосфере, он ничего не знает, видит все через очки своего фанатизма, около нет никого, кто бы хоть сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что происходит». Визит, сколько мне известно, не состоялся. Не знаю, отклонил ли его Ленин, или Керенский сам отказался от своего намерения. Затем, как я уже, кажется, отмечал, неоднократно возникали во Вр[еменном] правительстве разговоры по поводу безобразий, творившихся с домом Кшесинской, — частной собственностью, захваченной явно насильственным способом и ежедневно подвергавшейся порче и разрушению. Но дальше разговоров дело не шло. Когда поверенный Кшесинской возбудил у мирового судьи иск о выселении организаций, произвольно завладевших особняком, Керенский с удовольствием указывал, что вот, наконец, вступили

на правильный путь. Но когда его спросили, каким же образом будет приведено в исполнение решение мирового судьи, он ответил, что это его не касается, что это — дело администрации, исполнительной власти, Министерства внутренних дел, — каковое Министерство в то время находилось в нетях. Как известно, в конце концов удалось выселить большевиков, но дело уже было сделано, — они вполне и до конца использовали свою площадную трибуну.

<...>

В эти октябрьские дни, в хорошо мне знакомом доме № 10 на Адмиралтейской набережной, в бывшей квартире моего тестя, теперь занятой А. Г. Хрущевым<sup>11</sup> (это была квартира управляющего Дворянским банком), ежедневно, в шестом часу, собирались министры к.-д. <...> вместе с делегированными в эти совещания членами Центрального комитета — Милюковым, Шингаревым, Винавером<sup>12</sup>, Аджемовым<sup>13</sup> и мною. Цель этих совещаний заключалась в том, чтобы, во-первых, держать министров в постоянном контакте с Центральным комитетом и, с другой стороны, иметь постоянное и правильное осведомление обо всем, происходящем в правительстве. В этих наших собраниях Коновалов имел всегда крайне подавленный вид, и казалось, что он потерял всякую надежду. «Ах, дорогой В. Д., худо, очень худо!» — эту его фразу я хорошо помню, он неоднократно говорил мне ее (ко мне он относился с особенным доверием и доброжелательностью). В особенности его угнетал Керенский. Он к тому времени окончательно разочаровался в Керенском, потерял всякое доверие к нему. Главным образом его приводило в отчаяние непостоянство Керенского, полная невозможность положиться на его слова, доступность его всякому влиянию и давлению извне, иногда самому случайному. «Сплошь и рядом, чуть ли не каждый день так бывает», — говорил он. «Сговоришься обо всем, настоишь на тех или других мерах, добьешься, наконец, согласия. — “Так как, Александр Федорович, теперь крепко, решено окончательно, перемены не будет?” — Получаешь категорическое заверение. Выходишь из его кабинета — и через несколько часов узнаешь о совершенно ином решении, уже осуществленном или, в лучшем случае, о том, что неотложная мера, которая должна была быть принята именно сейчас, именно сегодня, опять откладывается, возникли новые сомнения или воскресли старые, — казалось бы, уже устраненные. И так изо дня в день. Настоящая сказка про белого бычка».

